

Александр Иванович Куприн

По-семейному



Александр Куприн
По-семе́йному

«Public Domain»

1897

Куприн А. И.

По-семейному / А. И. Куприн — «Public Domain», 1897

«Было это... право, теперь мне кажется порой, что это было триста лет тому назад: так много событий, лиц, городов, удач, неудач, радостей и горя легло между нынешним и тогдашним временем. Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола, под Александровской горкой, в номерах «Днепровская гавань», содержимых бывшим пароходным поваром, уволенным за пьянство, и его женою Анной Петровной – сущей гиеной по коварству, жадности и злобе...»

© Куприн А. И., 1897

© Public Domain, 1897

Александр Иванович Куприн По-семейному

Было это... право, теперь мне кажется порой, что это было триста лет тому назад: так много событий, лиц, городов, удач, успехов, радостей и горя легло между нынешним и тогдашним временем. Я жил тогда в Киеве, в самом начале Подола, под Александровской горкой, в номерах «Днепровская гавань», содержимых бывшим пароходным поваром, уволенным за пьянство, и его женою Анной Петровной – сущей гиеной по коварству, жадности и злобе.

Нас, постоянных жильцов, было шестеро, все – люди одинокие. В первом номере обитал самый старинный постоялец. Когда-то он был купцом, имел ортопедический и корсетный магазин, потом втянулся в карточную игру и проиграл все свое предприятие; служил одно время приказчиком, но страсть к игре совершенно выбила его из колеи. Теперь он жил бог знает каким нелепым и кошмарным образом. Днем спал, а поздно вечером уходил в какие-то тайные игорные притончики, которых множество на берегу Днепра, около большого речного порта. Был он – как все игроки не по расчету, а по страсти – широким, вежливым и фатальным человеком.

В номере третьем жил инженер Бутковский. Если верить ему, то он окончил лесной, горный, путейский и технологический институты, не считая заграничной высшей школы. И правда, в смысле всевозможных знаний он был похож на фаршированную колбасу или на чемодан, куда, собираясь в путь, напихали всякого тряпья сверх меры, придавили верхнюю крышку животом и с трудом заперли чемодан на ключ, но если откроешь, то все лезет наружу. Он свободно и даже без просьбы говорил о логике, об авиации, ботанике, статистике, дендрологии, политике, об ископаемых бронтозаврах, астрономии, фортификации, септаккордах и доминантах, о птицеводстве, огородничестве, облесении оврагов и городской канализации. Он записывал раз в месяц на три дня, когда говорил исключительно по-французски и по-французски же писал в это время коротенькие записочки о деньгах своим бывшим коллегам – инженерам. Потом дней пять он отлеживался под синим английским клетчатым пледом и потел. Больше он ничего не делал, если не считать писем в редакцию, которые он писал всюду и по всяким поводам: по случаю осушения болот Полесья, открытия новой звезды, артезианских колодцев и т. д. Если у него бывали деньги, он их рассовывал в разные книги, стоявшие у него на этажерке, и потом находил их, как сюрпризы. И, помню, часто он говорил (он картавил):

– Дуг мой. Возьмите, пгошу вас, с полки Элизе Геклю, том четветгый. Там между двухсотой и тгехсотой стганицами должны быть пять гублей, котогыя я вам должен.

Собою же он был совсем лыс, с белой бородой и седыми бакенбардами веером.

В восьмом номере жил я. В седьмом – студент с толстым безусым лицом, заяка и паинька (теперь он *прокурор с большой известностью*). В шестом – немец Карл, шоссеинный техник, жирный остзеец, трясующийся пивопийца. А пятый номер занимала проститутка Зоя, которую хозяйка уважала больше, чем нас всех остальных, вместе взятых. Во-первых, она платила за номер дороже, чем мы, во-вторых, – платила всегда вперед, а в-третьих, – от нее не было никакого шума, так как к себе она водила – и то лишь изредка – только гостей солидных, пожилых и тихих, а больше ночевала на стороне, в чужих гостиницах,

Надо сказать, что все мы были и знакомы и как будто бы незнакомы. Одолжались друг у друга заваркой чая, иголкой, ниткой, кипятком, газетой, чернилами, конвертами и бумагой.

Всех номеров было в нашем прибежище девять. Остальные три занимались на ночь или на время случайными парочками. Мы не сердились. Мы ко всему привыкли.

Наступила быстрая южная весна. Прошел лед по Днепру: река разлилась так мощно, что до самого горизонта затопила левый, низменный черниговский берег. Стояли теплые темные ночи, и перепали короткие, но обильные дожди. Вечера деревья едва зеленовато серели от

почек, а наутро проснулся – и видишь, как они вдруг заблестели нежными, яркими первыми листиками.

Тут подошла и пасха с ее прекрасной, радостной, великой ночью. Мне некуда было пойти разговесться, и я просто в одиночестве бродил по городу, заходил в церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, слушал звон и пение, любовался милыми детскими и женскими лицами, освещенными снизу теплыми огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упоительная грусть – сладкая, легкая и тихая, точно я жалел без боли об утраченной чистоте и ясности моего детства.

Когда я вернулся в номера, меня встретил наш курносый коридорный Васька, шустрый и лукавый мальчуган. Мы похристосовались. Улыбаясь до ушей и обнаруживая все свои зубы и десны, Васька сказал мне:

– Барышня с пятого номера велела, чтобы вы зашли до ее.

Я немного удивился. Мы с этой барышней совсем не были знакомы. – Она и записку вам прислала, – продолжал Васька. – Вон на столе лежит.

Я взял разграфленный листок, вырванный из записной книжки, и под печатной рубрикой «Приход» прочитал следующее:

«Глубокожамый № 8.

Если вам свободно и не по Брезуете очень прошу вас зати ко мне У номер разговца свяченой пасхой.

Извесная вам Зоя Крамаренкова».

Я постучал к инженеру, чтобы посоветоваться с ним. Он стоял перед зеркалом и с упорством всеми десятью пальцами приводил в порядок 'свои жесткие, запущенные седины. На нем был лоснившийся сюртук, выдавший виды, и белый галстук вокруг заношенного, порыжевшего с краю воротничка.

Оказывается, он тоже получил пригласительную записку. Мы пошли вместе.

Зоя встретила нас на пороге, извиняясь и краснея. У нее было самое заурядное, самое типичное лицо русской проститутки: мягкие, добрые, безвольные губы, нос немного картофелем и безбровые серые глаза навывкате – «лупетки». Но ее улыбка – нынешняя, домашняя, безыскусственная улыбка, такая застенчивая, тихая и женственная – вдруг на мгновение делала лицо Зои прелестным.

У нее уже сидели игрок и шоссейный Карл. Таким образом, за исключением студента, здесь собрались все постоянные обитатели номеров «Днепровская гавань».

Комната у нее была именно такая, какой я себе ее представлял. На комодке пустые бомбоньерки, наклепные картинки, жирная пудра и щипцы для волос. На стенах линиялые фотографии безусых и курчавых фармацевтов, гордых актеров в профиль и грозных прапорщиков с обнаженными саблями. На кровати гора подушек под тюлевой накидкой, но на столе, покрытом бумагой, вырезанной, как кружево, красовались пасхи, кулич, яйца, нога ветчины и две бутылки какого-то таинственного вина.

Мы похристосовались с ней щека об щеку, целомудренно и манерно, и сели закусывать. Надо сказать, что все мы в этот час представляли собою странное и редкое зрелище: четверо мужчин, в конец изжеванных и изглоданных неудачной жизнью, четверо старых кляч, которым в общей сложности было во всяком случае больше двухсот лет, и пятая – наша хозяйка – уже немолодая русская проститутка, то есть самое несчастное, самое глупое и наивное, самое безвольное существо на всей нашей планете.

Но как она была неуклюже мила, как застенчиво гостеприимна, как дружески и деликатно проста!

– Получайте, – ласково говорила она, протягивая кому-нибудь из нас тарелку, – получайте и кушайте, пожалуйста. Номер шестой, вы, я знаю, больше пиво пьете. Мне Вася расска-

зывает. Так достаньте около вас под столом. А вам, господа, я налью вина. Это очень хорошее вино. Тенериф. У меня есть один знакомый пароходчик, так он его постоянно пьет.

Мы четверо знали все в жизни и, конечно, знали, на какие деньги был устроен весь этот пасхальный стол вместе с пивом и «тенерифом». Но это знание, однако, совсем не коробило и не угнетало нас.

Зоя рассказывала о своих ночных впечатлениях. В Братстве, где она отстояла заутреню, была страшная теснота, но Зое удалось занять хорошее место. Чудесно пел академический хор, а евангелие читали сами студенты, и читали поочередно на всех языках, какие только есть на свете: по-французски, по-немецки, по-гречески, и даже на арабском языке. А когда святили на дворе пасхи и куличи, то сделалась такая толкотня, что богомольцы перепутали свои припасы и перессорились. Потом Зоя задумалась, развздохалась и стала мечтательно вспоминать великую неделю у себя в деревне.

– Такие мы цветочки собирали, называются «сон», _ синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет.

А чтобы желтый был цвет, так мы луком яйца обертывали, шелухой, – и в кипяток. А то еще разноцветными тряпочками красили. А потом целую неделю ходили по селу и били яйцо об яйцо. Сначала носиком, потом ж. кой, кто перебьет другого, тот забирает себе. Один парнишка достал где-то в городе каменное яйцо – так он всех перекокал. Но когда дознались, в чем дело, то у него все яйца отняли, а самого поколотили.

И целую святую неделю у нас качели. Одни – большие посередь села: это общественные. А то еще отдельно у каждых ворот маленькие качели – дощечка и пара веревок. Так всю неделю качаются все – мальчишки и девчонки, и все поют: Христос воскрес. Хорошо у нас!

Мы слушали ее молча. Жизнь так долго и ожесточенно колотила нас по головам, что, казалось, навеки выбила из нас всякие воспоминания о детстве, о семье, о матери, о прежних пасхах.

Между тем коленкорная занавеска на окне холодно поголубела от рассвета, потом стала темнеть и переходить в желтый тон и вдруг незаметно стала розовой от отраженного солнца.

– Вы не боитесь, господа, я открою окно? – сказала Зоя.

Она подняла занавеску и распахнула раму. Вслед за нею и мы все подошли к окну.

Было такое светлое, чистое праздничное утро, как будто кто-то за ночь взял и вымыл заботливыми руками и бережно расставил по местам и это голубое небо, и пушистые белые облака на нем, и высокие старые тополи, трепетавшие молодой, клейкой, благоухающей листвою. Днепр расстилался под нами на необозримое пространство – синий и страшный у берегов, спокойный и серебряный вдали. На всех городских колокольнях звонили.

И вдруг все мы невольно обернулись. Инженер плакал. Ухватившись руками за косяк оконной рамы и прижавшись к нему лбом, он качал головой и весь вздрагивал от рыданий. Бог весть, что делалось в его старческой, опустошенной и израненной душе неудачника. Я знал его прежнюю жизнь' только слегка, по случайным намекам: тяжелая женитьба на распутной бабенке, растрата казенных денег, стрельба из револьвера в любовника жены, тоска по детям, ушедшим к матери...

Зоя жалостно ахнула, обняла инженера и положила его седую, с красной бугристой плешью голову себе на грудь и стала тихо гладить его плечи и щеки.

– Ах, миленький, ах вы, мой бедненький, – говорила она певуче. – Сама ведь я знаю, как трудно вам жить. Все вы, как песики брошенные... старенькие... одинокие. Ну, ничего, ничего... потерпите, голубчики мои... Бог даст, все пройдет, и дела поправятся, и все пойдет по-хорошему... Ах вы, родненький мой...

С трудом инженеру удалось справиться. Веки у него набрякли, белки покраснели, а распухший нос стал почти синим.

– Чегт! Негвы пгоклятые! Чегт! – говорил он сердито, отворачиваясь к стене.

И по его голосу я слышал, что у него в горле, во рту и в носу еще стоят едкие невыливишиеся слезы.

Через пять минут мы стали прощаться и все почтительно поцеловали руку у Зои. Мы с инженером вышли последними, и как раз у самых дверей Зоино номера на нас наскочил возвращавшийся из гостей студент.

– Ага! – воскликнул он, улыбаясь и многозначительно вздернув брови. – Вы в-вон откуда? Гм... раззз-говелись, значит?

В тоне его голоса мы услышали определенную гнусность. Но инженер великолепно и медленно смерил его взглядом от сапог до верха фуражки и после длинной паузы сказал через плечо тоном непередаваемого презрения:

– Сссулик!

5 апреля 1910 г.